

## О СМЕЩЕНИИ ГРАНИЦ В ЛИТЕРАТУРЕ ПОСЛЕ 1917 г. (ФИЛОЛОГИЯ, ПОЭТИКА, НАЦИЯ)

ГРЕТА Н. СЛОБИН

При изучении истории русской литературы пореволюционного периода, когда осознание «кризиса» и боязнь за будущее связывали писателей метрополии и диаспоры, нельзя не вспомнить одного из крупнейших немецких филологов XX в., Эриха Ауэрбаха. Судьба и творчество этого ученого тесно связаны с историей Европы — он писал свой известный труд «Мимесис» во время 2-ой мировой войны с 1942 по 1945 гг. в изгнании, в Стамбуле.<sup>1</sup> В этой книге, написанной вдалеке от библиотек, в городе, находящемся на скрещении путей Запада и Востока, Ауэрбах, знаток поэзии европейского Средневековья и Данте, исследует традицию повествовательной прозы Западной Европы. Он рассматривает связь этой традиции с переходом от религиозного к секулярному, историческому мировоззрению по известным памятникам европейской культуры, начиная от «Одиссеи» и Библии до наших дней (Вирджиния Вульф).<sup>2</sup> В страшные годы насилия в истории любимой им Европы и истребления его народа (евреев) Ауэрбах настаивал на правде **филологии, любви к слову**. Он верил в способность культуры пережить взрывы цивилизации и ее инстинкт саморазрушения.

В одной из последних статей, напечатанной в 1952 г., «*Philologia und Weltliteratur*», Ауэрбах поясняет термин «всемирная литература»: Гете использовал его после 1827 г. в значении «универсальной литературы», выражающей **Humanität**, как ее высшую цель. Это понятие относится не столько к памятникам литературы, сколько ко всей всемирной литературе, созданной человечеством, которая превосходит границы национальных литератур, не посягая на их индивидуальность. В конце XVIII — начале XIX вв. в Германии появляется течение Гердера,

братьев Гримм и Шлегеля, которое вводит в практику филологию — историческое изучение словесного творчества. В середине XX в. Ауэрбаха волнует а-историзм послевоенной культуры, и он настаивает на том, что «только в истории мы можем остаться самими собой и продолжать наше развитие: задача и цель филолога заключаются в том, чтобы показать это так, чтобы это сознание неизбежно проникло в нашу жизнь».<sup>3</sup> Ауэрбах заключает: «Во всяком случае, наш филологический дом — это земля, нация. Самым бесценным и необходимым наследием филолога являются все-таки язык и культура его нации».<sup>4</sup>

Заключение этой статьи, написанной после 2-ой мировой войны, не поразит русского читателя своей новизной. Размышления о судьбах национальной культуры и языка занимают русских писателей в России и за рубежом на протяжении 20—30-х гг. Здесь невозможно не заметить совпадения идей Ауэрбаха с ранними высказываниями Осипа Мандельштама. Это единомыслие не удивительно — Мандельштам и Ауэрбах являются наследниками европейской филологической традиции XIX в. В статье 1921 г. «Слово и культура» Мандельштам приходит к выводу, что «отделение культуры от государства — наиболее значительное событие нашей революции». Но, как известно, эта надежда поэта-филолога на независимость культуры нации от государства не была реализована в советской России точно так же, как и в России царской.<sup>5</sup> Мандельштам с характерной для него остротой отмечает, что на этом раннем этапе революции «социальные различия и классовые противоположности бледнеют перед разделением нынче людей на друзей и врагов слова».<sup>6</sup> Роль этого принципа «разделения» как изоглоссы (isogloss) в русском литературном сознании после революции является главной темой настоящей работы.

Русский поэт как бы предвосхищает Ауэрбаха в своем эссе «О природе слова», написанном на тридцать лет раньше: «Европа без филологии <...> это — цивилизованная Сахара <...>».<sup>7</sup> Мандельштам указывает на роль слова в русской культуре в противовес Чаадаеву, который «утверждая <...>, что у России нет истории, <...> упустил одно обстоятельство — именно: язык». Далее следует фраза, ставшая афоризмом: «<...> язык не только — дверь в историю, но и сама история».<sup>8</sup> Здесь же Мандельштам выражает тревогу поэта-филолога, который понимает и опасность, грозящую слову в настоящий исто-

рический момент, и свое назначение: «Отлучение от языка равносильно для нас отлучению от истории».<sup>9</sup>

В борьбе за язык и культурную традицию в период потери истории и государства разыгрывается драма, в которой участвуют поэты, писатели и критики по обе стороны границы советского государства. Вопрос: «Едина ли русская литература?», открывающий статью Мандельштама «О природе слова», касается связи современной литературы с ее прошлым, но он также актуален по отношению к литературе метрополии и диаспоры. В обоих случаях ответ на вопрос: «чем именно определяется ее единство, каков ее принцип и каков критерий этого единства?» — один: отношение к языку.

Сознание тождества языка и истории в национальной культуре разделяли те современники Мандельштама, которые вместе с ним являлись наследниками поэтической и филологической традиции прошлого века. Это сознание приобретает особую остроту после революции 1917 г. в России, и в последующие годы становится центром полемики в литературе эмиграции. В эссе 1932 г. «Поэт и время» Марина Цветаева лаконично заявляет: «<...> из истории не выскочишь».<sup>10</sup> В своих дневниках и записях первых лет революции, собранных под названием «Земные приметы», она бросает поэтический вызов истории и политике: «Я неистощимый источник ересей».<sup>11</sup> В эти же годы Ремизов работает над «Временником» революции (опубликованным под заглавием «Взвихренная Русь», 1927) и, одновременно, «по обрывкам документов» пишет «Россию в письменах», «воссоздавая старую Россию», без которой он не может осознать ее настоящее.<sup>12</sup>

После 1917 г., когда прерывается история русской империи, культуре нации угрожают политический раскол, распад и рассеяние народа и его поэтов, носителей Логоса. Борьба за русскую культуру идет в Советской России и в эмиграции — в Праге, Берлине, Париже. В начале 20-х гг. советская и зарубежная Россия еще связаны группировками, издательствами, а также визитами советских писателей за границу, поэтому «даты возникновения «русской зарубежной литературы» и «эмигрантской литературы» не идентичны».<sup>13</sup> Разграничение метрополии и диаспоры в 1925 г. сопровождается обострением полемики о литературе во второй половине 20-х гг. Сознание опасности,

грозящей языку, приобретает особую остроту в России, где история как бы предъявляет требования языку, тогда как в литературе эмиграции история оказывается ответственной перед языком.

Особое значение приобретает роль критика — посредника в сложной цепи революция/язык/нация. Интересно заметить, что к середине 20-х гг. осознание «кризиса» становится главным рычагом литературной полемики по обе стороны границы. В советском контексте это «кризисное» сознание признается критиками различных убеждений. В своей статье 1924 г. «В ожидании литературы» Борис Эйхенбаум как бы ставит диагноз кризиса: «У нас есть какая-то литература, но никто ее не читает. Есть, кажется, и читатель, но литература просто не может его найти, а что касается критики, у нас ее просто нет».<sup>14</sup> Юрий Тынянов продолжает дискуссию в статье «Журнал, критик, читатель и писатель», в которой он констатирует, что «Читатель стал очень сложным, почти неуловимым», «Литература бьется сейчас, пытаюсь <...> нащупать новый жанр». В этих условиях «Критика должна осознать себя литературным жанром, прежде всего».<sup>15</sup>

Но если сравнительная независимость литературной критики от политики была еще возможна в середине 20-х гг., то к концу первого советского десятилетия в книге «Формальный метод в литературоведении», напечатанной в 1928 г., Павел Медведев заключает следующее: «<...> марксистская критика <...> отклонилась от встречи с формализмом на настоящей территории, на территории проблем спецификации и конструктивного значения».<sup>16</sup> Эйхенбаум подводит итог дискуссии о кризисе 20-х гг. в статье «Литературный быт», где он настаивает на том, что «социальный заказ не всегда совпадает с литературным, а классовая борьба с литературной борьбой».<sup>17</sup>

В то время, когда в послереволюционной России идет поиск «красного Толстого» и критики-марксисты, такие как Г. Горбачев, произносят далеко не литературные приговоры: «Пильняк, глядя на революцию, становится слеп на левый глаз»,<sup>18</sup> — в Париже проявляется культ Льва Толстого и Пушкина. Ревнители русской словесности в эмиграции, в эпоху потери государственности, становятся на стражу культурных ценностей и литературной традиции, отвергнутых большевиками, и видят свой долг в борьбе за охрану канона классической русской литературы, ста-

новящейся для них одним из главных символов нации. Это почти сакральное отношение эмигрантов к русской культуре выражает Дмитрий Мережковский в речи на заседании парижского литературного общества «Зеленая Лампа» (1927—1939): «Русская литература — наше священное писание, наша Библия — не книги, а Книги, не слова, а Слово. Логос народного духа. Слово есть дело. "Вначале было Слово"». <sup>19</sup>

Эта категорическая формулировка «кризиса» русской культуры у таких представителей русского модернизма, как Мережковский и Гиппиус, выражает **angst** всей консервативной эмиграции. Хотя, как пишет современный ученый М. Раев, отношение эмигрантов как к самому модернизму и Серебряному Веку, так и к анархизму было амбивалентным. <sup>20</sup>

По отношению к главным вопросам времени — едины ли русская литература и где именно представляются возможности для ее дальнейшего развития — эмигрантские журналы занимают различные позиции. Более свободомыслящие критики выражают опасение, что «консерваторы» русской традиции сами слепнут не только на «левый глаз», но и на литературный процесс и его законы, где неизбежна борьба «архаистов и новаторов». В статье «Там или здесь», вышедшей в парижской газете «Дни» (1925. — 25 сент. — N 804), Владислав Ходасевич критикует эмигрантское отрицание советской литературы по политическим соображениям: «<...> как за РКП не видят они России, так за большевистской накипью не хотят видеть русской литературы». Рассматривая различные трудности в условиях развития литературы в Советской России и в диаспоре, Ходасевич находит, что «она тяжело болеет и там и здесь, хотя проявления болезни различны». Несмотря на свое заключение, что «литература русская расчленена на двое», Ходасевич выражает надежду, что «Бог даст — обе выживут». <sup>21</sup> Его усилия занять сравнительно уравновешенную позицию тем более замечательны, что в марте того же года окончательно распался журнал «Беседа» (1923—1925), в редакции которого состояли Ходасевич и Максим Горький, а с ним — и последняя надежда на литературное сотрудничество писателей Советской России и эмиграции. <sup>22</sup>

Журнал «Благонамеренный», вышедший в Бельгии в двух номерах в 1926 г., также считал необходимым от-

стаивать независимость литературы от политики. В статье «О нынешнем состоянии русской литературы» в первом номере журнала Д. Святополк-Мирский прямо заявляет: «Но «Благонамеренный», мне кажется, для того и выходит в свет, чтобы отстаивать право литературной критики судить по литературным признакам».<sup>23</sup> В более резкой форме, чем Ходасевич, Мирский бросает вызов критикам в России и эмиграции: «Подходить к литературе с политическими мерками, как подходят к ней «Русское время», «Возрождение», «Красная новь», «Звезда» и Зинаида Николаевна Гиппиус, конечно, просто бессмысленно и даже вовсе не литературно бессмысленно, а, прежде всего, политически бессмысленно».<sup>24</sup>

Полемика обостряется после появления в 1926 г. евразийского журнала «Версты» под редакцией кн. Д. Святополк-Мирского. В своей рецензии на выход журнала В. Ходасевич резко критикует просоветскую позицию Мирского. Он пишет, что если раньше евразийцы пытались перенести «русскую проблему из области политики в область культуры» (см. «Скифы», «Инония»), то теперь они стараются показать, «сколь благоприятны политические условия СССР для развития и процветания талантов».<sup>25</sup> Здесь Ходасевич ставит под вопрос не только критическое отношение Мирского к литературной деятельности эмиграции, но и справедливость его позиции, близкой к отнюдь не объективной точке зрения левых советских критиков, равно как и его готовность игнорировать «невыносимые страдания писателей и интеллигенции в Советской России».

Литературный консерватизм и политический национализм эмиграции вызывают скептические высказывания Мирского и Слонима о возможности литературного процесса в диаспоре, и, напротив, оптимистические — относительно его динамики в России. В своей книге «Русская литература в изгнании» Глеб Струве пишет о предпочтении Слонимом всего советского — эмигрантскому: «Слоним не раз нападал на эмигрантскую критику как таковую, обвиняя ее в кумовстве, в отсутствии метода, в полном и сознательном пренебрежении к советской литературе <... >».<sup>26</sup> Однако Святополк-Мирский считал, что пражский журнал «Воля России» (1922 — 1932), редактируемый Слонимом, — самый живой и свободный из эмигрантских журналов.

В своей статье «О нынешнем состоянии русской литературы» в первом номере журнала «Благонамеренный» Мирский писал, что «русская литература находит больше радости в жизни после Революции, чем находила до Революции».<sup>27</sup> А в 1928 г. Марк Слоним выразил пессимизм и раздражение, утверждая, что «эмигрантской литературы как целого, живущего собственной жизнью, органически растущего и развивающегося, творящего свой стиль, создающего свои школы и направления, отличающиеся формальным идейным своеобразием — такой литературы у нас нет. Хорошо это или дурно, но это неопровержимый факт, и что бы ни говорили Кнуты, Париж остается не столицей, а уездом русской литературы».<sup>28</sup>

Роль критика в литературной жизни эмиграции становится все более сложной во второй половине 20-х гг. Глеб Струве указывает на выход «Благонамеренного» как на начало серьезных критических дискуссий в эмиграции, одной из которых явилась полемика Г. Адамовича с Ходасевичем в 1926—1928 гг. В своей биографии Ходасевича Давид Бетеа подтверждает значение этой полемики в литературе русской эмиграции междувоенного периода.<sup>29</sup> Для Ходасевича самое важное — это поэтическое мастерство и место поэта в традиции, Адамович же считает, что для молодого писателя важнее всего оригинальность и независимость.<sup>30</sup> В одной из своих рецензий на поэзию Ходасевича Адамович утверждает, что самое главное — **что**, а не **как** пишут молодые поэты.<sup>31</sup>

Проблемы поэтического мастерства и преемственности поэтической культуры продолжали волновать Ходасевича, как и Мандельштама в начале 20-х гг.<sup>32</sup> Позиция Ходасевича остается независимой как от левой эмиграции, так и от консерваторов. Один из самых ярких примеров этой полемики — публикация Святополка-Мирского «О консерватизме. Диалог» во втором номере журнала «Благонамеренный»:

«— Скажите, следует ли русскому человеку, любящему отечественную культуру, быть в наши дни литературным и культурным консерватором?»

— Нет, не следует.

— Почему?

— Потому что нечего сохранять».<sup>33</sup>

Для Мирского важен литературный процесс с его непрестанной динамикой: «Реставрации не бывает, ни в политике, ни в культуре»; «Искусство — создание новых ценностей». <sup>34</sup> Это высказывание близко к позиции русского авангарда и критике формалистов.

Острые перемены, происходившие в политическом положении России в конце 20-х — начале 30-х гг., и провозглашение соцреализма единственным методом советского искусства знаменуют эпоху сталинизма, когда «советская литература объявляет себя монопольным хранителем национальных классических традиций». <sup>35</sup> Этот советский «классицизм», парадоксально близкий к эмигрантскому консерватизму, возвещает конец авангарда в Советском Союзе. Мрачное сознание трагической судьбы русской литературы, которая теперь действительно «разделена надвое», а также чувство ответственности за ее будущее пронизывают блестящую статью Ходасевича 1933 г. «Литература в изгнании».

Как Мирский и Слоним в 20-е гг., Ходасевич отвергает консерватизм эмиграции, который для него равнозначен «равнодушию к общему ходу литературы». Несмотря на то, что еще в России, в ранние годы революции, Ходасевич относился к формалистам критически, в его подходе к истории литературы есть много общего с ними. <sup>36</sup> В своей статье «Литература в изгнании» Ходасевич поддерживает формалистскую теорию динамики литературного процесса: «Дух литературы есть дух вечного взрыва и вечного обновления». <sup>37</sup> Как поэт и критик Ходасевич настаивал на значении преемственности в литературе, но в отличие от консерваторов он пишет: «<... > нельзя учиться у людей, смотрящих лишь на прошлое и решительно не интересующихся теоретическими вопросами литературы». <sup>37a</sup>

Здесь же Ходасевич выдвигает проблему, которая станет одной из главных тем литературной критики в конце XX в. на Западе и в странах бывшего Советского Союза, — тему диаспоры: «История знает ряд случаев, когда именно в эмиграциях создавались произведения, не только прекрасные сами по себе, но и послужившие завязью для дальнейшего роста национальных литератур». <sup>37b</sup> В своих примерах он ссылается на «Божественную комедию» Данте как на «величайшее создание мировой литературы», а также на новую еврейскую поэзию начала века. Сюда Хо-

Ходасевич мог бы включить и своего современника Джеймса Джойса, писавшего вдалеке от родной Ирландии шедевр современной прозы «Улисс», герой которого, Стефан Дедalus, пробует «проснуться от кошмара истории».

В «Литературе в изгнании» Ходасевич выражает мысль, близкую к идее Ауэрбаха, приведенной в начале нашей работы: «Национальность литературы создается ее языком и духом, а не территорией, на которой протекает ее жизнь, и не бытом, в ней отраженным». <sup>37c</sup> Именно это сознание служило залогом продолжения и единства русской литературы, на которые Ходасевич выразил надежду в вышеупомянутой статье 1925 г. «Там или здесь».

Как специалист по Данте и автор книги «Данте, поэт секулярного мира», опубликованной в 1929 г., Ауэрбах глубоко осознал значение национального языка в литературной традиции, особенно в диаспоре. Одно из самых замечательных высказываний на эту тему в истории русской литературной диаспоры содержится в рецензии Ходасевича на поэму Цветаевой «Молодец», написанную в 1925 г. и посвященную Борису Пастернаку. Рецензия, напечатанная в парижской газете «Последние новости» 11 июня того же года, свидетельствует не только о высокой оценке произведения, но и выражает взгляды Ходасевича на возможности литературного творчества в эмиграции. <sup>38</sup> О том, насколько программна эта рецензия, свидетельствуют ее темы: преемственность (связь поэмы с пушкинской традицией литературной сказки); память слова (язык русского фольклора); творческие возможности в эмиграции. Ходасевич напоминает читателю, что литературная традиция народной сказки соблюдала пушкинскую «дозировку», в которой литературный стиль преобладал над народным. С точки зрения критика, Цветаева «нарушает традицию» и «изменяет пушкинскую "дозировку"», т. к. в ее поэме «народный стиль резко преобладает над книжным: отношение «народности» к «литературности» дано в обратной пропорции».

Ходасевич посвящает особое внимание словесному мастерству Цветаевой: «<...> сказка представляет собой настоящую россыпь словесных и звуковых богатств».

Конечно, никакая попытка воссоздать лад народной песни невозможна без больших знаний и верного чутья в области языка. Цветаева выходит победительницей и в этом. Ее словарь и богат и цветет, и обращается она с ним

мастерски. Разнообразие, порой редкость ее словаря таковы, что **при забвении русского языка**, которое ныне обще и эмиграции и советской России, можно, пожалуй, опасаться, как бы иные места в ее сказке не оказались для некоторых непонятностями и там, и здесь».

В заключении рецензии автор подчеркивает, что оригинальность и новаторство «Молодца» не только продолжают традицию русского авангарда, но также служат доказательством творческих возможностей поэзии в эмиграции: «Восхваление внутри советской литературы и уверения в мертвенности литературы зарубежной стали признаками хорошего тона и эмигрантского шика. Восхитительная сказка М. Цветаевой, конечно, представляет собой явление, по значительности и красоте не имеющее во внутри советской поэзии ничего не только равного, но и хоть могущего по чести сравниться с нею».<sup>39</sup>

Проблема «русского стиля», роль фольклора в поэтике Цветаевой и ее современника Алексея Ремизова станет точкой преткновения для «консервативной» эмигрантской критики. Это важная часть дискуссии о преемственности литературной и национальной традиции, об осознании ее «языка и духа» в эмиграции. В дарственной надписи на поэме «Молодец», посланной Ремизову, Цветаева замечает, что он также писатель, «прозванный современниками».<sup>40</sup>

Вопрос о поэтическом языке и его внелитературных источниках занимал Цветаеву еще до революции, как это видно из ее сборника 1916 г. «Версты 1», где в стихах о Москве ее героем становится «московский сброд — юродивый, воровской, хлыстовский». Через несколько лет, будучи в эмиграции в Праге, Цветаева писала молодому критику Александру Бахраху 9 июля 1923 г.: «Спасибо сердечное и бесконечное, что не сделали из меня **style russe**, не обманувшись видимостью, что, единственный за последнее время обо мне писавший, удостоили, наконец, внимания, сущность, то, что **вне нации**, то, что над нацией, то, что (ибо все пройдет) — пребудет».<sup>41</sup>

Цветаева находит возможность ответить критикам своего **style russe** на страницах «Благонамеренного», где она публикует «Цветник. Звено за 1925 г. "Литературные беседы" Г. Адамовича», который состоит из цитат, выбранных из его статей, с ее острым, ироничным комментарием:

«**Victoria Regina** (О лже-народном искусстве)

«Гой еси», «за лучами за зелеными» было, может быть, очень хорошо у Толстого, но вообще-то это совершенно невыносимо после романов в «Историческом Вестнике», после бояр К. Маковского и Самокиш-Судовской, после всей трескучей фальши подложно-народного искусства (кстати сказать и сейчас еще процветающего: Цветаева, например, посвящает свою сказку Пастернаку в благодарность «за игру твою за ненужную».)

Во-первых:

Эти строки не мои, а взяты мною из былины «Садко и Морской царь»: благодарность Морского царя — Садку. (См. любую хрестоматию).<sup>41a</sup>

В последнем колком замечании, брошенном Адамовичу, Цветаева указывает именно на опасность «забвения русского языка, которое обще и эмиграции и советской России», о которой предупреждал Ходасевич в своей рецензии на «Молодца».

«Забвение языка» волнует и Алексея Ремизова. В своем комментарии к документу из русского прошлого — «Купчей 1742—1746», из серии «Россия в письменах», он настаивает на необходимости связи с прошлым в языковой памяти: «Чтобы знать свой язык, мало знать, как пишется слово и выговаривается, надо знать, как писалось и выговаривалось. А для этого необходимо ходить по письменным русским вехам — читать старинные грамоты и изучать памятники русской литературы. Это и для России, где живут русские люди, и для заграницы, куда попали жить русские люди». Ремизов подчеркивает, что важен «диалог не только из-за границы, но и по заграницей времени», так как «русскому человеку нужно беречь эту "старинную память"». <sup>42</sup>

В этом же номере «Благонамеренного» публикуется статья Цветаевой «Поэт о критике», где она продолжает полемику с современниками, указывая на их несправедливость по отношению к себе и Ремизову и в сноске замечает, что эта проблема ожидает будущего историка литературы эмиграции: «Статья, которая еще будет написана. Не мной — так другим. Не сейчас — так через сто лет». <sup>43</sup> О непонимании современниками Цветаевой пишет в своих воспоминаниях Ю. Терапиано: «Несмотря на весь свой поэтический талант и на значительность своей личности, Марина Цветаева в эмиграции пришлось не ко двору. Дело здесь не только в сложности и малодоступно-

сти ее поэзии; как раз в те годы, когда Цветаева жила во Франции, в зарубежной литературе начало утверждаться другое течение, стремившееся к ясности и простоте, отвергшее всякую "левизну" и "заумность".<sup>44</sup>

Высказывания русских поэтов и писателей в изгнании, приведенные выше, звучат как предвестие послевоенных размышлений Эриха Ауэрбаха. В статье «*Philologie und Weltliteratur*» Ауэрбах заключает: «Самым бесценным, необходимым наследием филолога является язык. Но только когда он (филолог) оторван от этого наследия и переходит за его пределы, только тогда переход за его пределы (*transcendence*) становится по-настоящему действительным». <sup>45</sup> (Only when he is separated from its heritage, however, and then transcends it, does it become truly effective.)

В конце XX в. читатель Мандельштама, Цветаевой, Ремизова и их современников безусловно найдет бесчисленные примеры *transcendence*. Вместе с Мандельштамом Марина Цветаева верит, что поэзия независима от государства, что это «третье царство со своими законами». В статье 1932 г. «Искусство при свете совести» Цветаева пишет о поэзии как о кощунстве: «Когда я пишу «Молодца» — любовь упыря к девушке и девушки к упырю — я никакому Богу не служу: знаю, какому Богу служу». Для нее «искусство — искус, может быть самый неодолимый соблазн земли». <sup>46</sup> В статье «Поэт и Время» Цветаева продолжает мысль о независимости жизни слова, близкую Ходасевичу и Ауэрбаху: «Россия только *pregel* земной понимаемости, за пределом земной понимаемости России — беспредельная понимаемость не-земли». Россия становится поэтическим символом, и Цветаева цитирует Рильке: «Есть такая страна — Бог, Россия *граничит* с ней, так сказал Рильке, сам тосковавший везде вне России, по России, всю жизнь. С этой страной — Бог, Россия по сей день *граничит*».

Эта идентификация поэта с нацией и ее языком связана с традицией мировой литературы: «Всякий поэт по существу эмигрант, даже в России». <sup>47</sup> Для Цветаевой как поэта не существует запретов — ни границ, ни цензуры, ни правил грамматики и синтаксиса. Подобной идее было подчинено и утопическое литературное общество Ремизова — Обезьянья Палата, которая «уничтожила всякие границы, заставы, пропуски и визы — иди куда хочешь,

живи, как знаешь. И как она безгранична, палатка-то, границ не имеет, так и значения, увы! никакого в ограниченном мире». <sup>48</sup>

Что означает это стремление к неограниченной свободе, которая может быть осуществлена в слове? Развитие русской литературы отличается от европейской, т.к. до нашего времени оно неотъемлемо связано с историей церкви и государства. Несмотря на это, в начале XX в. Мандельштам настаивает на «эллинизме» русского языка, его независимости, указывая на исторические особенности его развития: «Русский язык — язык эллинистический. В силу целого ряда исторических условий, живые силы эллинской культуры, уступив Запад латинским влияниям и ненадолго загощиваясь в бездетной Византии, устремились в лоно русской речи <... > русская культура и история со всех сторон омыты и опоясаны безбрежной стихией русской речи <... >». <sup>49</sup>

Самое существенное в связи «стихийного русского языка» и древнегреческого — это «принцип внутренней свободы». Мандельштам проводит особую линию преемственности, в которой Россия оказывается подлинной наследницей Древней Греции.

В своих размышлениях о «стихийности русского языка» и его независимости Мандельштам также намечает связь современной русской поэзии с Данте. Новаторская идея великого итальянского поэта о риторике новой поэзии на разговорном итальянском языке, — вместо традиционной латыни, языка церкви и Империи, — представлена в его труде «**De Vulgari Eloquentia**» (ок. 1305 г.), написанном в изгнании, вдали от его любимой Флоренции. Как замечает критик конца XX в., это «один из многих ответов поэта на непрощаемую боль изгнания». <sup>50</sup> Данте определяет просторечие как язык, «которому учатся дети от их окружения, когда они начинают выговаривать слова; короче, это язык, которому мы учимся без каких-либо правил, имитируя нянь». <sup>51</sup> «**De Vulgari Eloquentia**» — это «апология европейской любовной лирики, написанной просторечием», глубина и форма которой способны выразить боль и тоску изгнания. <sup>52</sup> По словам современного нам критика, «**De Vulgari Eloquentia**» становится базисным текстом романской филологии, в котором определена роль просторечия в любовной лирике, а также ее национальное значение, не зависимое от авторитета государства и

церкви, от борьбы за власть в истории нации.<sup>53</sup> Поэма Цветаевой «Молодец» продолжает эту традицию европейской поэзии в изгнании.

Мандельштам ссылается на Данте в своем призыве к «просторечию» в статье «Заметки о поэзии», первая половина которой вышла в 1923 г. под названием «Vulgata. Заметки о поэзии». Это время ранней революционной эпохи, когда «безбрежной стихии» русского языка угрожает новое государство: «Давайте нам вульгату, не хотим латинской библии».<sup>54</sup> Примером такой речи для Мандельштама служит язык поэзии Велимира Хлебникова: «Речь Хлебникова до того обмирщена, как если бы никогда не существовало ни монахов, ни Византии <...>. Это абсолютно светская и мирская русская речь, впервые прозвучавшая за все время существования русской книжной грамоты».<sup>55</sup>

Если в статье 1921 г. «Слово и культура» Мандельштам делил людей на «друзей или врагов слова», то в своем произведении «Четвертая проза», написанном через десять лет, в 1930–1931 гг., незадолго до начала его преследования властями, когда он разделит судьбу Данте, Мандельштам сознает опасность, грозящую «стихийному русскому языку»: «Чем была матушка филология и чем стала... Была вся кровь, вся непримиримость, а стала псыкрвь, стала нетерпимость».<sup>56</sup>

Как упоминалось в начале статьи, Эрнх Ауэрбах посвятил свой монументальный труд «Мимесис», написанный в изгнании, развитию повествовательной прозы и традиции реализма. Реализм XX в. представлен Бальзаком и Флобером, и отсутствие здесь русских реалистов поражает читателя. Причина этого пробела проста — Ауэрбах писал только о произведениях, которые он мог читать в оригинале. В конце послесловия к «Мимесису» Ауэрбах выражает уверенность, что его труд найдет своего читателя среди «друзей прошлых лет, если они еще живы, а также других, кому предназначена эта книга...»<sup>57</sup> Ауэрбах не мог знать, что русские поэты 20-х и 30-х гг. в России и за рубежом, которым не привелось быть его читателями, оказались, однако, его идеальными собеседниками.

После написания статьи Ходасевича «Литература в изгнании» прошло полвека. В предисловии к сборнику

«Русское культурное Возрождение» (1981), посвященному литературе эмиграции. Темира Пахмусс пишет, что собранные в нем тексты свидетельствуют о преемственности русской литературы и об усилиях эмиграции в деле продолжения традиции русской культуры за границей. Редактор сборника также обращает внимание на «современность литературы русской эмиграции, ее стилистические эксперименты», а также на ее значение в контексте международного авангарда XX в.<sup>58</sup> К подобному же заключению ранее пришли и авторы статьи «Проблемы изучения литературы русской эмиграции первой трети XX века», рассматривавшие этот период в контексте возникновения «транснациональных культурных образований»: «<...> послереволюционная русская литература обоими своими полюсами захватывает культурно-семиотическое пространство, порожденное глубинными сдвигами европейского искусства XX века».<sup>59</sup> Более того, добавим, что поэзия и поэтика изгнания в русской литературе двадцатого века продолжают наследие замечательной поэтической традиции европейского Средневековья.

#### ПРИМЕЧАНИЯ

- 1 Первое изд.: Auerbach E. *Mimesis: Dargestellte Wirklichkeit in der abendländischen Literatur*. — Bern, 1946. См. изд. на русск. яз.: Ауэрбах Э. *Мимесис: Изображение действительности в западноевропейской литературе*. — М., 1976.
- 2 О связи идей Э. Ауэрбаха с современной ему литературной критикой см.: Холквист М. «The Last European: Erich Auerbach as Precursor in the History of Cultural Criticism» (In: *Modern Language Quarterly*. — 1993. — Т. 54. — N 3. — P. 371–391).
- 3 Auerbach E. *Philology and Weltliteratur* / Transl. M. and E. Saud // *The Centennial Review*. — 1969. — Т. 13. — P. 6.
- 4 Ibid. — P. 17.
- 5 Здесь интересно вспомнить взгляды славянофилов на народность, независимую от самодержавия, — см.: Милюков П. *Славянофильство... // Энциклопедический словарь / Изд. Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона*. — СПб., 1900. — Т. 30. — С. 309.
- 6 Мандельштам О. *Собр. соч.* — Мюнхен, 1971. — Т. 2. — С. 223.
- 7 Там же. — С. 250.
- 8 Там же. — С. 247.

- 9 Там же. — С. 248.
- 10 Цветаева М. Избранная проза: В 2 т. — New York, 1979. — Т. 2. — С. 370.
- 11 Там же. — С. 120.
- 12 Ремизов А. Взвихренная Русь. Изд. 2-ое. — <London>, 1979. — С. 228.
- 13 Болдыт Ф., Сегал Д., Флейшман Л. Проблемы изучения литературы русской эмиграции первой трети XX века: Тезисы // Slavica Hierosolymitana. — Jerusalem, 1978. — Vol. III. — P. 84.
- 14 Эйхенбаум Б. Литература: Теория; Критика; Полемика. — Л., 1927. — С. 132.
- 15 Тынянов Ю. Поэтика. История литературы. Кино. — М., 1977. — С. 147–149.
- 16 Медведев П. Формальный метод в литературоведении. — М., 1928. — С. 94.
- 17 Статья появилась в 1927 г. в журн. «На литературном посту»; вошла затем в кн.: Эйхенбаум Б. Мой современник. — Л., 1928.
- 18 Горбачев Г. Творческие пути Б. Пильняка // Бор. Пильняк: Ст. и материалы. — Л., 1928. — С. 65.
- 19 Цит. по: Терапиано Ю. Литературная жизнь русского Парижа за полвека (1924–1974): Эссе, воспоминания, статьи. — Париж; Нью-Йорк, 1987. — С. 48.
- 20 Raff M. Russia Abroad: A Cultural History of the Russia Emigration: 1919–1939. — New-York; Oxford, 1990. — P. 102–103.
- 21 Ходасевич В. Собр. соч.: В 5 т. — Ann Arbor, 1992. — Т. 2. — С. 368.
- 22 Об этом см.: Ходасевич В. «Беседа» // Возрождение. — Париж, 1938. — 14 янв. — N 4114; Ходасевич В. Горький // Ходасевич В. Некрополь. — Париж, 1976. — С. 228–277 (см. также переиздание: Ходасевич В. Ф. Некрополь: Воспоминания. — М., 1991. — С. 155–187); а также: Vatheia D. M. Khodasevich: His Life and Art. — Princeton, 1983. — P. 268–272.
- 23 Благонамеренный — Брюссель, 1926. — N 1. — С. 90.
- 24 Там же. — С. 94.
- 25 Ходасевич В. О «Верстах» // Современные записки. — Париж, 1926. — N 29. — С. 433–441.
- 26 Струве Г. Русская литература в изгнании: Опыт исторического обзора зарубежной литературы. — Нью-Йорк, 1956. — С. 69.
- 27 Благонамеренный. — 1926. — N 1. — С. 97.

- 28 Цит. по: Струве Г. Указ. соч. — С. 69. (Цитата из «Литературного дневника» М. Л. Слонима в N 7 «Воли России» за 1928 г.)
- 29 *Bathia D. M.* Ibid. — P. 118.
- 30 См. об этом: *Hagglund R.* The Adamovich — Khodasevich Polemics // *Slavic and East-European Journal*. — 1976. — Т. 20. — N 3. — P. 241. (подразумевается выступление Адамовича в номере парижского журн. «Звено» за 8 окт. 1923 г.)
- 31 См.: Ibid. (подразумевается статья Адамовича в «Звене» за 27 июля 1925 г.).
- 32 См.: *Терапиано Ю.* Об одной литературной войне // *Мосты*. — 1966. — N 12. — С. 363 - 375; *Федотов Г. О* парижской поэзии // *Ковчег*. — Нью-Йорк, 1942.
- 33 *Благонамеренный*. — 1926. — N 2. — С. 87.
- 34 Там же. — С. 88; 92.
- 35 *Большдт Ф., Сегал Д., Флейшман Л.* Указ. соч. — P. 79.
- 36 См.: *Malmstad J. E.* Khodasevich and Formalism: A Poet's Dissent // *Russian Formalism: A Retrospective Glance*. — New Haven, 1985. — P. 74.
- 37 *Ходасевич В.* Литературные статьи и воспоминания. — Нью-Йорк, 1954. С. 262.
- 37a Там же. — С. 267.
- 37b Там же. — С. 259.
- 37c Там же. — С. 258.
- 38 Об отношениях поэтов см.: *Карлинский С.* Письма Цветаевой к Ходасевичу // *Новый журнал*. — Нью-Йорк, 1967. — N 89. — С. 102—114.
- 39 *Ходасевич В.* Заметки о стихах (М. Цветаева. «Молодец») // *Последние новости*. — Париж, 1925. — 11 июня.
- 40 См.: *Slobin G. N.* Marina Cvetaeva: Story of an Inscription // *To SK: In Celebration of the Life and Career of Simon Karlinsky*. — Berkeley, 1994. — P. 281—296.
- 41 Письма М. Цветаевой к А. Бахраху // *Мосты*. — <Мюнхен>, 1960. — N 5.
- 41a *Благонамеренный*. — 1926. — N 1.
- 42 Там же. — С. 136.
- 43 Цит. по: *Цветаева М.* Избранная проза: В 2 т. — Нью-Йорк, 1979. — Т. 1. — С. 236—237.
- 44 *Терапиано Ю.* Литературная жизнь русского Парижа за полвека (1924—1974). — С. 9.
- 45 Цит. по: *Auerbach E.* Philology and Weltliteratur // *The Centennial Review*. — 1969. — Т. 13. — P. 17.
- 46 *Цветаева М.* Избранная проза: В 2 т. — Нью-Йорк, 1979. — Т. 1. — С. 395.

- 47 Там же. — С. 372.
- 48 Ремизов А. Кукха: Розановы письма. — <Берлин>, 1923. — С. 66.
- 49 Мандельштам О. Собр. соч. — Мюнхен, 1971. — Т. 2. — С. 245.
- 50 Menocal M. R. Shards of Love: Exile and the Origins of the Lyric. — Durham; London, 1994. — P. 92.
- 51 De Vulgari Eloquentia / Entr. and transl. by M. Shapiro. — Lincoln, 1990. — P. 47.
- 52 Menocal M. R. Ibid. — P. 93.
- 53 Ibid. — P. 96.
- 54 Мандельштам О. Собр. соч. — Мюнхен, 1971. — Т. 2. — С. 263.
- 55 Там же.
- 56 Там же. — С. 222.
- 57 Auerbach E. Mimesis: The Representation of Reality in Western Literature. — New York, 1957. — P. 557.
- 58 Pachmuss T. <Entrod.> // A Russian Cultural Revival: A Critical Anthology of Emigre Literature Before 1939 / Ed. and transl. by T. Pachmuss. — Noxvill, Tennessee, 1981. — P. XII–XIII.
- 59 Slavica Hierosolymitana. — Jerusalem, 1978. — N 3. — P. 88.